

Вступительная заметка

Автор текста, Юрий Сергеевич Степанов (1930-2012), впоследствии известный ученый-филолог, академик РАН, был направлен на годичную учебу во Францию, в Париж, в Парижский университет Сорбонна, в командировку от филологического факультета МГУ по линии Министерства высшего образования СССР, первым после открытия так называемого «железного занавеса» на 1957-1958 учебный год, что произошло в начале «хрущевской оттепели». В то время Юрий Сергеевич учился в аспирантуре филфака МГУ. Для граждан СССР того времени продолжительная командировка во Францию воспринимались как нечто совершенно новое, неожиданное, непривычное. И во Франции чувствовался большой интерес к человеку, приехавшему из Москвы, из СССР, когда культурные и научные контакты между странами только начали восстанавливаться после длительного перерыва. Франция тех лет была совсем другой, нежели сейчас. Находясь в молодежной, студенческой среде в Париже, автор произведения живо и увлекательно описывает нравы и обычаи, одним словом, жизнь Франции тех лет. В те годы в Париже шло активное новое строительство, постепенно исчезали старые районы. В провинциальных городах Франции, наоборот, все еще оставалось по-старому, о чем говорится в книге. Персонажи произведения - конкретные лица, которым приданы некоторые обобщенные или придуманные черты.

По возвращении из Франции в 1958 г. автор отнес очерк «Сентиментальное путешествие» в журнал «Юность». Его похвалили, одобрили, но не опубликовали. Есть редакторская правка, т.е. с текстом, по-видимому, уже работал редактор журнала. После этого третий, а может и четвертый, не отчетливый, экземпляр был переплетен и поставлен на полку во второй ряд в книжном шкафу, где и был обнаружен уже после смерти автора.

Годичная командировка с интенсивным изучением французского языка и специфики перевода очень помогла Юрию Сергеевичу усовершенствовать свои знания языка до свободного владения, и затем он несколько лет проработал переводчиком французского языка в МИДе, переводил на переговорах на высшем государственном уровне. Огромен был запас новых идей, впечатлений, соображений, почерпнутый автором во время его тогдашнего пребывания во Франции, что в дальнейшем нашло свое отражение в его научных произведениях.

Думается, что публикация этого первого литературного сочинения известного впоследствии ученого-филолога будет интересна и читателю XXI века.

Н.Ю. Степанов

Ю.С. Степанов

**СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(Москва-Париж-Москва)¹**

Предисловие

Сразу следует сказать, что эта книга не отчет о путешествии во Францию, для этого она слишком субъективна.

Это рассказ человека о самом себе, может быть, даже исповедь (если отбросить покаянный оттенок этого слова). Некоторые места объясняются именно этим.

Всякая исповедь пишется тогда, когда прошлое уже переосмыслено и от него нужно отделаться. Так и здесь. От интеллигентской растерянности перед некоторыми типами людей человек приходит к уверенности, что в борьбе с ними он победит. Это главное.

Что касается Франции, то ее увидел своими глазами все тот же человек. Об этом надо помнить, чтобы понять и картину и ее автора.

Люблю. Но ты, которую я люблю, – подданная Французской республики и – за тысячи километров отсюда. И в этом вся тяжесть моего теперешнего существования.

Переписываю этот дневник для тебя, далекой.

Немного для себя.

И пожалуй, еще немного для всех, кто не хочет жить без любви, мужчин и женщин.

¹ Неопубликованная машинопись Ю.С. Степанова, датированная 1958 годом. Текст, задумывавшийся Ю.С. Степановым как «книга», представляет собой художественно-документальный очерк о его путешествии во Францию в 1957-58 гг. в рамках стажировки при Парижском университете. Название отсылает к «Сентиментальному путешествию по Франции и Италии» (1768) - роману английского писателя Лоренса Стерна, заложившему основы жанра travel writing в европейской культуре. В русской культуре этот жанр, в частности, был актуализирован В.Б. Шкловским в его мемуарной книге «Сентиментальное путешествие» (1923). Подготовка машинописи к печати выполнена В.В. Фещенко, Н.Ю. Степановым, Е.В. Степановой. - *Прим. ред.*

А сколько могут?

Вот они.

В театре: – перед игрой артистов – сосут конфеты и развалились в кресле. «Чего там. Щас разгрядутся, чай пить будут...» Жалкие! Для них театр – бесплотные поцелуи на сцене и плотоядные за кулисами. Мне бы хотелось написать так, чтобы – даже перед изображением подвига – сидели струной, не касаясь спинки стула, и чтобы оттопыренные уши горели.

В жизни: не могу видеть, как – пока одни бросают дом и едут мерзнуть, потеть до соли на рубашке и, обрывая ногти, работать на всяческой целине – другие тащат справочки, чтобы занять опустевшую квартиру. Знаю не хуже этих «справочников», что не всегда благоразумно срывать ногти и давать себя жрать комарам в тайге. Знаю, но все равно я с ними, с теми, кто бросает и едет.

Для всех, кто чувствует так как я, пишу эти строки.

Но главное для тебя и для себя.

И больше всего

для тебя одной.

Переписываю и посылаю тебе эти тетради для того, что чувствую как из-за дальности и разлуки рвутся, лопаются нити, натянутые между мной и тобой. Непонимание усиливается. Может быть, еще немного и уже ничем нельзя будет помочь. Мне кажется, мы уже начинаем забывать, какого цвета наши глаза, и как мы говорим, и что мы такое. Еще немного, и мы перестанем понимать, как расположены взаимно наши позиции в мире событий, хотя мы еще ясно видим, как – за границами, горами и реками – расположены они на глобусе.

У меня всегда была уверенность (которую до конца ты, кажется так и не разделила), что если мы будем знать все друг о друге – не то, сколько ты или я съедаем за обедом или чем болели в детстве – а все о нашем видении мира, то мы станем неразлучны. Легко расстаться с кем-нибудь, с кем поговорил час или два, но можно ли – хотя бы мыслью – не возвращаться к человеку, о котором знаешь многое: куда он пойдет, и что скажет, и какое у него будет при этом лицо, и как он относится к дождю, к морю или к индийской пятилетке?

Время не поколебало моего убеждения. Только теперь уже мне кажется, что надо знать все и про болезни тоже...

Но ты помнишь, как у нас всегда не хватало времени при встречах, чтобы каждый мог говорить так долго, как я – один! – говорю в этих тетрадях.

Поэтому просто посылаю их тебе.

МОСКВА

Каким я был за день, за месяц, за год до встречи с тобой?

Я был преподавателем университета, а в свободное время писал рассказы о людях, которые меня окружали.

Вот, например, как начал свой курс мой старый профессор.

Лекция, которой начался курс.

Они оба были поразительно, необыкновенно красивы. На них оглядывались на улице. А я, смотря на них, думал, что красота почти так же превышает человека, как ум и талант.

А они к тому же были умны и талантливы. Они были лучшие мои ученики.

Я старый человек и легко раздражаюсь. Когда студенты на моих лекциях ерзают, пересылают друг другу записочки, или – хуже всего – начинают смотреть в потолок, – я теряю нить и умолкаю. Если внимание не возвращается, я говорю:

– Простите, товарищи. Вот вы, блондинка с серыми глазами, – не мешает ли вам лектор?

Мне много раз говорили, что мой прием по-школьному или даже по-детски наивен. Может быть, но он всегда помогает.

Они всегда были невнимательны, и я никогда на них не сердился.

Дело в том, что они любили друг друга. На лекциях они всегда сидели рядом, она держала его за локоть обеими руками. Я уверен, что прикосновение этих рук было невесомо. Но несмотря на их легкость, мне казалось, что он скован, боится шевельнуться, чтобы не причинить ей неудобства. Они никогда не шептались, не смотрели по сторонам. Их взгляды были устремлены только на меня, и это меня воодушевляло. Хотя, я думаю, они едва ли слышали мой голос.

После лекции, собирая бумаги в портфель, я украдкой следил, как они пробирались между рядами стульев. В их движении было особое очарование. Она казалась беззащитной. Это было главное впечатление. Особенно от ее походки. И оно только подчеркивало ее красоту. Черные институтские столы, стулья, окна, двери казались грубыми рядом с ней и заставляли опасаться за нее. И в то же время она не была тепличным существом, в ней чувствовалась сила и гибкость. Как же может быть, спросите вы, чтобы эти два впечатления совмещались? Уж не знаю как, но только так оно и было.

Он шел за нею и нес ее и свои книжки. Он был мужествен и горд, и чем-то неуловимо похож на нее. Не замечали ли вы, что двое любящих людей делаются похожи друг на друга?

Слушать их на экзамене было одно удовольствие. И не то, чтобы они были всезнайки. Иногда, впрочем не часто, я видел, что они лукавят, блестящей фразой уводят меня от вопроса. Иногда я поддавался, иногда настаивал, это было похоже на напряженную игру, но, не зная, они прямо говорили: этого я не знаю. Только знали они много.

Когда они успевали читать, для меня оставалось загадкой. Думаю, что они занимались вместе. А это много значит. О, если бы рядом со мной был сейчас кто-нибудь, с кем бы я мог поделиться новой мыслью, пока, через печать, она еще не принадлежит всем, прочесть удачную фразу, попросить совета. Вы не знаете, как это смешно, когда все только у вас просят совета...

Не обижайтесь, я делюсь с вами, но вас очень много.

Когда они кончили курс, я написал поэму с посвящением им обоим. Каково? Вы и не подозревали, что ваш старый профессор на это способен? Я бы и сейчас не открылся, но слух уже прошел, и делать нечего. Я прочел ее только им двоим.

Там описывалась моя молодость. Собственно, что было описывать? Не было подвигов, не было громкой славы. Был труд, труд и труд. Лекции по десять часов в день, с переходами пешком и переездами из Сокольников в Марьину рощу, оттуда на Арбат и обратно. Пришлось много и громко читать в больших, холодных и прокуренных залах. Вот откуда этот ужасный голос, который вы так блестяще пародируете. Были нетопленные библиотеки, где казалось еще холоднее от голода. Вот, пожалуй, и все. Ведь жизнь ученого – это его книги. И, – сейчас вы разочаруетесь, – ведь и звание доктора *honoris causa* мне досталось не за подвиги, а за многочасовой, ежедневный головной труд.

Вот все это я и описал. И немного еще прибавил в конце для них, но это уже не важно.

Я прочел им, и они были смущены и обрадованы. Я хотел посмотреть на их лица, но не решился. Мне самому было неловко. Мы попрощались. И они уже пошли. И тут я подумал, что все-таки наверное я выжил из ума, и если уж не мог удержаться от писания, то надо было удержаться от чтения. Я встал, поклонился и попросил у них прощения. И от волнения я, кажется, нелепо взмахнул руками. За такие вот штуки я и прослыл у вас чудачком, но как же поступить иначе?

И все-таки это был счастливый момент. И он был не долог. Потом экзамены продолжались. Пришла экзаменоваться моя нелюбимая студентка (конечно, я это вам только говорю, что она нелюбимая). Генеральская дочка, неумная, с плоским лицом, с очень пышным бюстом и неприятной

привычкой разваливаться грудью на столе. Мне пришлось отодвинуть свои бумаги. Первым вопросом ей выпал даже не вопрос, а целая проблема. Такая, на которую лучшие умы человечества потратили много драгоценных часов, дней и лет, и над которой еще седеют многие головы. Так бы ей и сказать. А она походя разделалась с ней и занесла в разряд ненужных. Она употребляла при этом французские наименования, дурно выговаривая их. Мне было неприятно и неловко. Я сказал:

– Не могли бы вы привести другие мнения, не вполне согласные с вашим?

Она отказалась. Я извинился, что не могу поставить ей больше четверки, и вышел вслед за нею, чтобы пригласить следующего. Они еще не ушли. Она была окружена толпой знакомых, многие из которых не показывали виду, что восхищены ею, а один, пожилой, напротив, всячески это подчеркивал. Кажется, это был кинорежиссер, притом известный, со значком лауреата. Он без конца фотографировал ее в разных позах и даже вставал при этом на колени.

Но ушли они только вдвоем, и я в душе посмеялся над воздыхателями. Я знал, что скоро они должны пожениться. Они доверили мне эту тайну.

Прошел год. И что же? Он женился на генеральской дочери. Да, да, на той самой! Я до сих пор не могу вообразить их рядом.

Но он, благодаря выгодной женитьбе, стал печататься, публиковать статьи и целые книги, возможности публикации были широкие, он не поспевал работать. И вот в два года он исписался, и я с ужасом и сомнением в своей прежней догадливости спрашиваю себя, да был ли у него талант?

А она вышла замуж за режиссера и снимается в кинокартинах. Первую ее вещь я шел смотреть с трепетом и... не мог высидеть до половины. Где все, куда все девалось? На экране выхаживал манекен, кукла. Это было не для нее, и это была не она.

Как совершился этот ужасный, роковой перелом в их жизнях? Я до сих пор не могу себе этого объяснить. Изменил ли сначала один из них и этим навсегда заразил другого, отравив его чистый взгляд на человека? Или они оба, сознательно, рассудив и взвесив все откровенно друг перед другом, пожертвовали своим чувством? Этого мы никогда не узнаем.

Вчера я случайно встретил их в театре. Всех четверых. Я следил за их судьбой по рассказам и знал, что те двое не виделись с тех пор. Они встретились у меня на глазах. Оба очень изменились. Он растолстел, и его едва можно было узнать. Он так же гордо нес свою красивую голову. Но теперь это была нарочитая осанка, он знал, как надо ходить. Она, напро-

тив, похудела и казалась еще более хрупкой и беззащитной, чем прежде. Но она расчетливо подчеркивала свою хрупкость, и уже не казалась мне красивой. Но нет, это не правда! Она все-таки хороша, и ничто, даже она сама, не может ее испортить.

Они поздоровались. Я ждал, сердце у меня стучало. И – о ужас! – ни следа, ни тени сожаления, печали о прошлом не промелькнуло на их лицах. Они были довольны!!

Мне казалось, что меня на старости лет жестоко обманули. Я не знал, что делать. Я ушел из театра домой и написал эту лекцию...

Ну вот, это немножко и я. Не буквально, конечно...

А вот одно из моих прошлых воскресений. Скажи мне, как ты проводишь выходной, и я скажу, кто ты.

Ты, например, всегда печатала на машинке до полудня, и у тебя было потом бледное от усталости лицо. Александр, которого ты потом узнаешь, утром съедает вместо завтрака целый обед, с вином, а потом красный, довольный ложится на диван, и высасывает из зубов: тс, тс...»

А ко мне в воскресенье на дачу приехала Ирина, с мужем, моя хорошая знакомая.

После обеда пошли гулять втроем. Мы с Ириной все время подтрунивали друг над другом. Она близорука и боится всяких канав и ямок. Я говорил, что ей, с ее большим ростом (которого она стыдится) можно перешагнуть не то что канаву, а шоссе. Она отвечает, что я длинный, как жердь, перепрыгиваю через пеньки, как мальчишка, что распустил русский чуб, тоже как мальчишка, и что вообще гулять со мной не прилично.

Сели на теплом обрыве над рекой. Я взял с собой Декарта (думал ли, что через год или два буду спорить о Декарте с тобой). Но после обеда с вином, и на припеке хотелось не читать, а спать. Супруги меня тут же высмеяли.

Но – знай октябрь! – над нами было еще голубое небо, а речка стала вдруг лиловой, как чернила, хотя туча была еще далеко. Странное свойство русских речек отражать то, чего наши глаза еще не замечают. И после грозы они первые голубеют, еще под черным небом. Подул холодный ветер. На черной воде в рябинах плавал гусь. Ветер взьерошил ему перья, задрал крыло и не давал повернуться. Стало неуютно. Мы поджали колени к подбородкам, заговорили о близкой зиме, об урожае в колхозах.

Ирина только что вернулась из плавучего – по Волге – дома отдыха. На пристанях народ заранее ждал парохода, толпой врывается в буфет и хватал (покупал, то есть) белые батоны. И хотя в буфете были и шоколад, и консервы, но люди смотрели только на белые батоны.

– Ты понимаешь, Юрка: только на белый хлеб!

Не знаю, для чего я написал эту фразу в первом лице. Как будто этим можно передать интонацию, с которой она была сказана.

Так и кончилось это воскресенье, одно из многих. У нас были все составные части счастья, и мы были почти счастливы.

Когда мы расставались, глаза у Ирины блестели, как от жара. Отчего серые русские глаза могут так сиять, как никакие на свете, ни черные, ни зеленые, ни голубые?

И почему судьба устроила так, что не полюбил я Ирину, если уж суждено было мне полюбить так несчастливо, а полюбил я тебя, далекую женщину из далекой страны, и между нами тысячи километров?

Все это, пожалуй, наивно, покажется таким и тебе, но не от того, что я глуп сейчас или был глуп тогда, а от того, что русская современная молодежь, по-моему, вообще поздно достигает зрелости.

А вот то здание, куда я хожу ежедневно уже двенадцать лет.

Идя от Охотного ряда, вы прежде всего увидите барометр. И в лютовость, и в ведро он знай себе показывает «ясно» и напоминает этим университетскую газету. За барометром начинается ограда, за оградой двор, и в нем прямые, как ископаемые в степи идола, две статуи – Герцена и Огарева. Налево первый, направо второй, или наоборот (никто теперь уже не знает). Если вы посмотрите на эти статуи зимой, когда на головах у них кубанские шапки из снега, вы поймете, почему дети никогда не играют и не смеются на этом дворе.

Но летом памятники окружены веселенькой зеленью, даже березками. Там всегда густая тень, в которой скрываются от белого света дня лопата, метла и совок дворника. Сам дворник скрывается в подвале. Там он варит кислые щи и проветривает квартиру в помещение факультета журналистики. В короткие июльские ночи шесть гуманитарных факультетов один за другим устраивают в актовом зале (за белыми полуколоннами) свои выпускные вечера и танцуют там до упаду. Волосы прилипают ко лбу, увядшие галстуки свертываются в трубочку, как листья ландыша, а старые преподавательницы разных наук – из тех, про которых Никита Сер-

геевич сказал, что они уже не понимают, куда едут: на ярмарку или с ярмарки – стоят шпалерами вдоль стен, вспоминают балы в Дворянском собрании (ныне ДOME Союзов) и впиваются в стаканчики с мороженым, рискуя, разумеется, оставить там свои челюсти.

В эти ночи в уютных уголках позади статуй появляется раскинутая доброй рукой того же невидимого дворника (он или она) кровать, на которой отдыхают молодые люди, которым прически, галстуки и конечно-сти временно отказались служить.

Здесь же помещается сберегательная касса, которую обслуживают две женщины. Одна из них, помоложе, прозванная Катюша Маслова, с пунцовыми щеками, коричневыми выпуклыми глазами и детской прической с ленточкой необыкновенно нравится старым профессорам, и они подолгу ее рассматривают. Это внимание воспитывает обеих дам периферийного вида на столичный лад. Если вы попросите выдать вам часть суммы десятирублевыми бумажками, они ответят вам сквозь зубы:

– Мельче пятидесяти не бывает.

Второй корпус по другую сторону улицы Герцена. Двор там выше улицы, а середина его выше краев. В центре этого холма стоял долгое время деревянный оштукатуренный постамент (замененный теперь гранитным), на постаменте куб, а на кубе статуя Ломоносова со свитком в руке.

Позже с Ломоносовым произошла та же история, что и с директором университетского издательства: его сначала сняли, а потом посадили. (Тут мы, русские, смеемся. А ты, хоть и изучаешь русский язык, но попробуй, догадайся, почему?). Теперь там статуя в сидячей позе. Но теперь никакого эффекта уже вовсе нет.

У памятника было, есть и будет место свиданий. В один момент здесь можно наблюдать все стадии человеческого сомнения, отчаяния и надежды. Иной раз какой-нибудь обладатель новых брюк с идеальными складками идеально спокоен, но торговый ярлык, забытый на самом видном месте этих брюк, возвещает о том, что смятение и спешка владели человеком еще несколько минут назад.

Зимой здесь масса детей, которые никак не могут удержаться на вершине холма, и едва забравшись туда, скатываются во всех направлениях, на санках и более естественным способом, и няnek, которые сердятся на детей за то, что приходится делить внимание между ними (а они это не ценят) и солдатами, которые ценят это, если не безумно дорого, то во всяком случае несравненно дороже). Одинокие няньки молча наблюдают. По их социальной злости и способности подмечать и бичевать нравы общества одинокие няньки должны быть названы няньками-сатириками.

По одну сторону от памятника – библиотека, по другую – университетский клуб, переделанный из церкви. Окна его выходят на улицу, и ба-

летоманы—мужчины внимательно просматривают через них репетиции балетного кружка и изучают костюмы танцовщиц. Парадный вход в клуб — тоже с улицы, а к памятнику выходит маленькая таинственная дверца. Она открывается только тогда, когда в клубе происходит гражданская панихида, и надо вынести тело и «эвакуировать» зал, чтобы не мешать движению по улице Герцена.

В последний раз эта дверца открывалась тогда, когда хоронили того старого человека, о котором я уже писал тебе раньше. Его провожало только человек двадцать студентов (так как в тот день, кроме похорон, были большие соревнования по волейболу), два-три профессора и соседи, которые отняли у него полквартиры, и, хотя и причинили ему зло, и, следовательно, по Льву Толстому, должны были его ненавидеть, все-таки продолжали его любить. И когда после его смерти они подали заявление в суд, то указали в нем, что не только любили, но и присматривали за покойным, и что поэтому им должна отойти и оставшаяся часть квартиры.

А в квартире этой был настоящий музей античности, который он собирал всю жизнь: статуэтки из Танагры, копии знаменитых скульптур, изумительная голова Сократа («любимый философ Ленина», — говорил он, и весь светился при этом, как ребенок, рассказывающий о любимой книжке), изумительная библиотека по античной культуре на семи-восьми языках и просто черепки старинной посуды, которые он понавез из раскопок в Италии до Первой мировой войны.

«Там ведь древность сама ползет из земли, стоит только после дождя поскрести глину пальцем», — рассказывал он с упоением, и вдруг засыпал от старости, и спал минуту или две. А когда просыпался, мы делали вид, что ничего не произошло.

Он был действительно одинок. В бороде у него оставались крошки, и некому было ему об этом сказать. В буфете он покупал домой студень и холодные творожники (и жирная буфетчица учила его, что надо говорить «сырники») и заворачивал их в бумагу. И шагал, подпрыгивая как журавль. И иногда на худой щиколотке, из-под брюк, виднелась белая те-семка солдатских кальсон...

Теперь мы должны войти внутрь. Но это не так легко сделать. Как известно, во всех красивых больших московских зданиях парадные входы замурованы навечно, и надо пробираться через боковые или черные двери. Очень красивая парадная лестница в Библиотеке имени Ленина открылась совсем недавно, не менее красивая главная лестница в Музее имени Пушкина и до сих пор доступна только уборщицам, ну а здесь, из-за того что черного хода нет, пришлось открыть главный вход, но зато только на половину. В оживленные часы студенческого дня или когда пол Москвы являются за билетами на воскресные лекции, толпа выдавливается сквозь эти двери, как паста из тюбика.

Старые профессора с тростями и пожилые женщины в очках робко ждут, пока выдавится вся паста. Университет, ГУМ и станции метро вроде Таганской – это те два места на земле и одно под землей, которых старые профессора боятся больше всего на свете.

Наконец, мы внутри. Широкая лестница ведет на второй этаж. В дни приезда иностранных делегаций ее устилают ковром, уставляют цветами в кадках, и скрытые за кадками – как соловьи на версальских праздниках – уборщицы с восковыми лицами – сгоняют с ковра задумавшихся студентов.

Но в обычные дни по этой лестнице все-таки не запрещено подниматься, и это очень приятно, потому что наверху, у балюстрады постоянно отдыхают от занятий молодые девушки и молодые люди, и ласково смотрят вниз на подымающихся по лестнице.

Здесь есть другая библиотека, подсобная, где книги выдают как кирпичи, и библиотекари с унылыми лицами, пропитанные запахами дезинфицированных книг, в черных халатах, вызывают желание задвинуть их на книжную полку. Независимо от возраста (я чуть было не сказал – от пола) к ним обращаются всегда одинаково: «Девушка», даже тогда, когда их фигуры изменяются настолько, что уже нельзя и думать о том, чтобы засунуть их между книгами.

Вот тут, в толпе студентов я часто встречал Милочку и Галю. Я уже хотел вычеркнуть все, что относится к этим существам, но недавно они снова попали в круг моего зрения, и я решил оставить, – дальше ты поймешь, почему.

Милочка, как гласит самое ее имя, есть милочка, с красивыми глазами, которые хорошо выходят на фотографии (или, как говорит Милочка, «на фотке»), с пухлыми розовыми пальцами, и ступает она так миленько, каблучок к каблучку а носочки врозь – елочкой. Шумных людей и собраний она боится. Ее вечно ругают там как «пассив», и она вздрагивает, когда называют ее имя. После шутит: «Среди меня опять провели работу», но в глазах еще долго стоит испуг. Но, в общем, все обходится благополучно, и в личном деле у нее не записано ни одного взыскания по комсомольской линии.

И вот что-то сблизило ее с Галей. Галя совсем другая. Каких много... И не то, чтобы у нее не было индивидуальных черт (она, например, ходит носками вовнутрь), но эти черты как-то попридавлены. Первый раз я увидел ее на приемных экзаменах.

Хожу, заложив руки за спину, как делают все экзаменаторы, пока экзаменующиеся пишут. Вдруг слышу шелест страниц у себя за спиной. Что это? Листают книгу! Зачем книга на письменном экзамене? Списывают! Шпаргалка. Так. У других, наверное, не смеют. Это у меня репутация добряка...

Обернуться и поймать виновного? Но тогда он потеряет право сдавать дальше. А, может быть, это будущий Ломоносов.

Смотрю в окно. Ничего не замечаю.

А за моей спиной происходит в это время, я знаю, я это вижу в стекле, неслышный, но бурный разговор глазами.

Галя осторожно вынимает руки из-под стола, где в ящике спрятана книжка. Поднимает голову и встречает четыре пары глаз, которые, каждая на свой лад, выражают негодование, просьбу, упрек. Но Галя отрицательно качает головой. Она не понимает глубоких причин этой просьбы, негодования, упрека. Совсем другая мораль, как иная группа крови. Весь вид ее говорит:

– Мне тоже хочется учиться в университете, не меньше, чем вам. Но если я не умею писать так складно и хорошо как вы... Вон вы какие зубы! Значит, мне уж совсем и нельзя?..

Да, это сложнее, чем я думал.

Кто-то сидящий сзади Гали вырывает у нее книгу и бросает в мусорный ящик, прямо так, через всю комнату. Это уже слишком шумно. Обращиваюсь. Все опять спокойно. Маленькая победа коллектива над индивидуализмом...

Но нет. Если бы победы давались так скоро...

Галя кладет согнутую руку на стол, опускает на нее голову. Плечи движутся и дрожат, как хвостик, белая тесемка, на которую она как-то там наматывает свои волосы.

Да, это все сложно.

Впрочем экзамен она все-таки сдала, хотя и на «тройку».

Теперь она кончает Московский университет...

Через открытые двери библиотеки запах дезинфекции наполняет весь огромный куб над главной лестницей, до самого верха, до балюстрады третьего этажа, где все пространство уставлено столами и склоненные над ними студенческие головы погружены в многотомные труды университетских профессоров и тоненькие тетрадки своих конспектов, где выражена суть написанного профессорами. Смех, скрип передвигаемых стульев разносятся здесь гулко, как в бане, и отразившись от стеклянного купола падают на склоненные головы как возмездие за нарушение тишины.

Вечером, когда усталый мозг уже хочет не думать, а мечтать, и фонари, отраженные в темном куполе, кажутся мне звездами, я вспоминаю, что в 1942 году этот купол был пробит осколками, и сугробы лежали на лестнице. Дорогие мне тени знакомых и никогда не виденных мною людей, оживают для меня в этом здании. Старый профессор и молодые студенты... Лия Канторович, легендарный редактор стенной газеты «Комсомолия» (название которой было взято из стиха Безыменского), ушедшая

добровольцем, санитарка, изрешеченная пулями на передовой, герой Советского Союза посмертно... Уже забыли ее лицо, и как она смеялась, помнят только сказанные кем-то про нее слова: «Она была красивая и смелая, и щедрая, как все красивые и смелые люди»... И друзья ее были такие же: Павел Коган, Подаревский... Те самые, которые в сороковом году еще увлекались романтикой – Байроном и Лермонтовым, а в сорок первом уже были реальными бойцами на реальном фронте, и погибли там как герои. Те самые, от которых осталась сложенная ими в душевной аудиотории, под скучной как пустой аптечный пузырек лампочкой, – песня:

Надоело говорить и спорить

И любить усталые глаза...

В флибустьерском дальнем синем море

Бригантина подымает паруса...

А это не бригантина, а война, уже подымала свой черный парус над ними.

Перебегая улицу Герцена от старого здания к новому вы можете на той стороне передохнуть и выпить газированной воды у тети Киля. Хотя у нее бронзовое лицо, вы отличите ее от памятника Островскому, так тот сидит у Малого театра. Кроме того, у тети Киля есть на бронзовом лице четыре бирюзовые точки: две серьги и два глаза. Она добрая женщина, и если вы приезжий или иностранный студент, то можете получить у нее стакан воды на пять копеек дешевле.

– Не обедняю, прохрипит тетя Киля, – и вы можете ей поверить, так как недавно она купила полдачи.

В свободную минуту тетя Киля подходит к будке милиционера-регулировщика и разговаривает, обращаясь к его сапогам, которые приходятся на уровне ее глаз. Сам милиционер в это время обычно смотрит на девушку, которая торгует папиросами по другую сторону улицы. У каждого на лице совершенно одинаковые полусмущенные улыбки, как будто отражение одна другой...

И вообще, видеть эти сценки, понимать их с первого взгляда, ведь это и значит быть в родном городе. (Что значит быть не в родном городе, я понял позже, в Париже).

Вот молодой человек с усталым лицом, в небрежно повязанном галстуке, с сумкой наполненной батонами и банками консервов, идет ни на кого не глядя, а за ним, стараясь поймать его за руку, с отчаянием на лице, пробирается молодая женщина. Она говорит, так чтобы не слышали окружающие:

– Ваня, ну остановись, Ваня...

Прохожие мужчины ничего не замечают, женщины замечают все. И вот одна, седая и строгая, загородила дорогу и говорит ему сурово:

– Иван, ай не к тебе обращаются?

Смысл этой сцены, как бы она ни кончилась, в этой пожилой женщине.

Вот подальше, у книжного лотка, девушка с портфелем держит в руках томик Библиотеки приключений или что-нибудь в этом роде и сконфуженно поясняет:

– Вот продам, подкормлюсь немного к экзаменам, масла куплю...

И хотя рядом, на лотке, точно такие же книги и даже новее, но уже две или три женщины обступили девушку и покупают, по-видимому, не глядя.

Вот два парня с чисто подстриженными шеями, засученными рукавами и толстыми жилами на голых руках, выходят с большими чемоданами из троллейбуса, и кондукторша с крутой завивкой, игнорируя простертые к ней руки с монетами, провожает парней словами:

– Привет там, целине...

И руки с монетами на этот раз терпеливо ждут...

И вообще на одном этом перекрестке можно схватить необыкновенную, дорогую черту советского города: по-настоящему чужих почти нет, а есть просто еще не вполне знакомые.

ПАРИЖ

Теперь ты понимаешь, почему, в силу какого контраста я так долго не любил Париж. Остроумие реклам и рекламное остроумие. Бежевые и элегантные дамы, дома, дымы. И улыбки, ох уж эти улыбки! Я размышлял над ними целыми часами, бродя по городу.

А времени бродить у меня было с избытком, так как занятия в Сорбонне начинаются на месяц позже, чем у нас.

И вот я ходил по улицам, и думал о том, как много улыбка может скрыть. Вот только что на бульваре Сен-Жермен мальчуган лет восьми рассыпал тетради посреди улицы и, подбирая их, едва не попал под автомобиль. Его спасло мгновение. Все это произошло перед группой элегантных женщин и мужчин, ожидавших автобуса. И что же? Никто из них не сделал ни шага вперед, ни движения рукой, не вздрогнул, не вздохнул. Только одна женщина, одетая менее красиво, чем остальные, и стоявшая несколько на отлете, вскрикнула неприлично громко, и... была прощена – целым созвездием очаровательных, милых, ободряющих улыбок. Мне кажется, убей перед ними человека, они все так же будут улыбаться, и только дамы подберут подолы шуб, чтобы не запачкать их кровью.

Вечером кафе с застекленными террасами ярко освещены изнутри, и люди сидят там как в фонаре. Они смотрят оттуда на улицу и ничего не видят в темных стеклах. Прохожему кажется, что они смотрят сквозь него. И для меня не улыбка, а этот стеклянный взгляд – главная черта парижан с Елисейских полей, с площади Согласия, с Сен-Жермен. И мне уже кажется, что и влюбленные друг на друга, отец на детей, дети на мать глядят таким же стеклянным равнодушным взглядом. Мне делается жутко, как в глухом лесу.

Кто они, эти люди? Артисты, чиновники, коммерсанты? Все разъяснилось, когда я побывал на знаменитом ночном рынке, который снабжает продовольствием весь Париж. Это – Чрево Парижа, описанное еще Золя.

Мы отправились туда в четыре часа утра, затемно. Моросил липкий дождик. Переехали площадь Согласия и почти тотчас за нею одинокие до сих пор автомобили стали собираться в ручейки, ручейки в реки, наша скорость упала и наконец все остановилось. Проезд дальше был закрыт, там без всякого видимого перехода, среди таких же домов, улиц и переулков, какие шли до этого, начинался рынок. Подъезжавшие автомобили тихонько натыкались один на другой, от толчка из них вылезали люди и продолжали идти пешком, все в одном направлении, как на Ленинградском шоссе после футбола. Никто не нес в руках ни сумок, ни кошельков. Но зато все улицы были запружены ручными и автоматическими тележками (у нас в таких перевозят багаж на вокзалах). Рынок этот оптовый и товар продают не килограммами, а пудами, поэтому доставить его к автомобилю можно не иначе как в тележке. Около тележек топчутся под дождем носильщики, с надеждой поглядывая на прохожих. Против течения толпы движутся уже груженные тележки. Время от времени они наталкиваются на людей, которые бредут вперед, накрыв головы газетами и капюшонами. И тогда то опрокинется ящик с апельсинами, то осыплет сверху ворох душистой петрушки. Негромкий смех, окрики носильщиков...

Дождь прекратился. Я поднял голову.

Мы были под высоченной, как на Киевском вокзале, стеклянной крышей, черной от вековой копоти и пыли. Крыша покрывает целый квартал. За ним, через улицу – другая такая же крыша, направо третья, налево – четвертая. Это и есть крытый рынок Ле-Аль.

Мы попали в мясной павильон. От самой двери шли ряды железных стоек с крюками, увешанные бычьими тушами. Под ярким светом, вымытые, блестящие, розовые с белым, они образовывали целые аллеи, такие длинные, что в конце их мужчина казался ребенком. Под тушами тесно,

рядами были уложены коровьи головы с прикушенными языками. Языки висели и отдельно: лиловые – говяжьи, белые – телячьи. По углам рядов были сложены горками бульонки и ноги.

Всего было так много, что казалось, будто сначала эту огромную железную и стеклянную коробку набили мясом до отказа, а потом, чтобы пустить людей, прорубили просеки.

Мясники расхаживали по этим просекам в белых халатах, усыпанных яркими горошками крови, а на опушках солидные люди в строгих темных костюмах наблюдали за своими секциями. Никто не зазывал покупателей, не хватал их за руки. Здесь в тишине проворачивались оптовые сделки на сотни килограммов.

Следующая крыша была пониже, и там совершались покупки помельче, но не меньше пяти-десяти кило за раз (в розницу на этом рынке не продают ничего). Ряды здесь разделены на мелкие участки, и каждый участок занят одним из поставщиков. Здесь время от времени продавцы позволяют себе похвалиться свой товар или привлечь внимание покупателя очаровательным жестом. Здесь погрязнее и потеснее, и нам пришлось туго завернуться в плащи, как в купальные простыни, чтобы не запачкаться струйками крови, стекавшими с прилавков.

В рыбном павильоне пахло не то океаном (как по моему представлению он должен пахнуть), не то болотом. Серебряные холмы из рыбы и невысокие штабели ящиков не закрывали здесь перспективы и позволили одним взглядом охватить всю площадь.

В отделе морской рыбы огромные, фантастического рисунка рыбыны лежали в ящиках между кусками льда, как невиданные драгоценности. Красные омары, как на старинных голландских картинах, не поддавались аккуратной укладке и корячились то усом, то клешней. Маленькие креветки, изящные и розовые как кораллы, были туго уложены в ящики вперемешку с мелко наколотым льдом.

В отделе пресноводной рыбы товар еще прибывал. Окунь, карпы, щуки, судаки, сомы, весом в 3-8 килограммов... Их вываливали из корзин, и мокрые рыбыны, проскользив, застывали в плавном изгибе.

Владельцы товара, – тут по большей части женщины, – руками в перчатках перебирали рыбу.

Вдруг что-то привлекло мое внимание в облике одной торговки. Что-то виденное, знакомое... Что именно? Модная прическа под целлулоидной непромокаемой косынкой? Золотые перстни под хирургическими перчатками? Дорогие туфли в прозрачных ботах?

Вдруг все эти штрихи слились в цельный портрет, и я узнал. Ведь это одна из тех милых дам со стеклянным взглядом, которые фланируют по площади Согласия и по Елисейским полям, сидят на террасах дорогих

кафе, перед сном прогуливаются с собачкой, одетой в шерстяной жилетик...

Пораженный этим открытием, я стал протискиваться назад через горы рыбы, мяса, фруктов, глядя теперь не на товар, а на его владельцев. Вот молодой человек с усишками отцепляет жирную кровяную тушу с крюка, а рядом его отец или тесть с жирным кровяным затылком заносит в книгу приход. Вот дама покупает ящик креветок. Да я еще вчера видел ее, а не ее, так точно такую же, за стойкой кафе...

Да, сомнений не было. Это она – публика со стеклянными глазами. Рассеянные по городу днем, растасованные среди рабочих, служащих, студентов, они собрались здесь ночью, среди груд провизии, как члены огромного всефранцузского братства.

Во Франции, – от таких же людей, – приходилось слышать, что уныло похожи друг на друга китайцы в синих блузах, что однообразны даже русские в пальто на вате. А разве не уныло однообразны эти люди в своих уныло модных богатых костюмах?

Теперь мне странно думать, что в эти дни ты тоже бывала на лекциях, и мы расходились не зная, и даже не видя друг друга, разделенные дверями, стенами, событиями, днями. Лучше ли, скорее ли узнал бы я Францию, если бы я уже знал тебя? Не знаю. Камни не казались бы мне такими серыми, дождь таким унылым... Но я не жалею, что был этот серый период. Чтоб понять тебя (а ты думаешь, это просто), когда мы встретились, мне нужно было прежде, самому и без посторонней помощи, понять вашу страну.

Из окна моей комнаты в студенческом городке виден большой фанерный щит для реклам, и по тому что появляется на нем, даже без газет и радио, можно следить за напряженным ритмом парижской жизни. Вот на щите очаровательная женская физиономия с широкой (правда несколько насильной) улыбкой. Надпись объясняет хорошее настроение этой особы: есть возможность провести зимний отпуск на острове Таити. На другой день поверх плаката появляются писанные от руки листки, наклеенные наспех (однако так, чтобы не закрыть улыбку и название фирмы, – иначе – судебный процесс за утеснение свободной коммерции); крупно: «Война

в Алжире» и «Благосостояние народа», а между ними мелко: «Две вещи несовместимые». Тут же адрес, по которому компартия проводит лекцию о войне в Алжире. На третий день эти листки заменены новыми: «Ни мюжик, ни красная кожа (американец)! – Юная нация! (Молодежная полуфашистская организация). На четвертое утро место лекции о Алжире, еще кое-где различимое до того, аккуратно вымарано неизвестной рукой (полицейский с довольным видом прогуливается поодаль). На пятое утро новый плакат: трехлетняя девочка напяливает огромный, с себя ростом, нейлоновый чулок и меланхоличная констатация (таким тоном, что все равно уже ничего нельзя поделаться): «Она уже поддалась соблазну» и название фирмы нейлоновых чулок. Щит освежен и все начинается сначала.

Когда я побывал на кладбище Монпарнас, мои первые впечатления не только не рассеялись, но окрепли. Париж – город лавочников. А как же? Ведь принадлежат же кому-нибудь эти тысячи кафе мал-мала меньше, тысячи кондитерских, булочных и галантерейных лавчонок. В двенадцать дня или вечером сквозь стеклянные двери лавок видно, как в задней комнате, тут же за магазином, вся семья собирается за обеденным столом. Каждая лавка – это уютное и крепенькое буржуазное гнездышко. А если еще на витрине вы видите изображение медалей и старинную надпись, как на русских коробках конфет фабрики Эйнем, – «Первая медаль какой-то там всемирной выставки в каком-то там 1911 году», – то можно быть уверенным, что это гнездышко перетерпело и крах в 17 году царских займов, в которых была и их приятная доля, и кошмарный 29 год – год мирового кризиса, когда многие отцы семейств пустили себе пулю в лоб и благополучие гнездышка основательно пошатнулось, и годы немецкой оккупации, после которых гнездышко хранит в черных рамках портреты своих едва оперившихся птенцов.

Но, несмотря ни на что, гнездышко существует и сохраняет свои крепенькие, твердолюбенькие традиции.

Ничто так не напоминает об их устойчивости, как парижские кладбища.

От главной, широкой и усыпанной гравием аллеи, отходят перпендикулярно боковые дорожки. Вдоль них густо, но геометрически правильно, как экспонаты на выставке, расставлены памятники. Ближе к дорожке – низкие памятники – плиты, вазы и статуи не выше колена. За ними второй ряд, – чтобы не загораживать первый, – плиты и статуи побольше – до плеча или в рост человека. В третьем ряду – склепы, от размера гардероба и выше (последние, впрочем, редко). Почти каждая плита или дверь склепа – это целая родословная. Вот фамилия прадеда, скончавшегося слава богу, еще до революции 1848 года, потом сыновья и дочери, дожившие до Коммуны; внуки и правнуки, пережившие войну 14-го года и, на-

конец, праправнуки. Если они еще живы, то для них оставлено место. На плите и, разумеется, под плитой. И места еще очень много – поколений на пять вперед. И если (что, впрочем, редкое исключение) смерть застала их не в теплой постели, а в немецком концлагере, то прах их разыскан, бережно водворен на надлежащее место, о чем и сделана соответствующая оговорка на плите. Как тут не почувствовать силу традиции! Непохоже все это на наши кладбища, где рябина, да клен в изголовье, да песчаный бугор вместо фамильного склепа, и где все равно ни в каком склепе не собрать своих, из которых один лежит под Перекопом, другой под Каховкой, а третий под Берлином.

Если советскую систему высшего образования можно сравнить с пирамидой, стоящей на основании: от разнообразного, даже несколько разбросанного и кишашего подробностями материала первых курсов, студента постепенно подводят к обобщениям, выводам, основным проблемам – на последних курсах, то французская система, напротив, напоминает пирамиду, стоящую на вершине.

Программы Сорбонны содержат многообещающие солидные названия вроде «Общая философия», «Логика», «Психология», «История Средних веков» и т.д. На самом же деле, это всего лишь названия «сертификатов», то есть справок, которые студент должен иметь для получения диплома. Для каждого сертификата нужно сдать экзамен. Четыре сертификата составляют «лисано», приблизительно соответствующих нашему диплому высшего учебного заведения. Но на эти экзамены не выносятся общие вопросы логики, психологии, истории философии. Нет даже ни одного курса лекций такого общего типа. Читаются только частные курсы по отдельным, более мелким вопросам предмета. Так, вместо истории французской литературы можно прослушать курсы «Бодлэр – художественный критик» или «Трагедия Расина «Федра». Вместо истории русской литературы «Последние романы Тургенева» и еще несколько подобных узких курсов. И чем дальше продвигается студент по стезе науки, тем уже становятся предлагаемые ему вопросы. Положение несколько не меняется и оттого, что эти узкие вопросы преподносятся со всей возможной глубиной.

Подобным же образом строятся и экзамены. У нас на каждый экзамен составляется около 30 билетов, по два или три вопроса в каждом, следовательно, 60-90 вопросов, действительно охватывающих пройденный курс в целом. В Сорбонне же на экзамен выносятся обычно один – два вопроса, еще более узких, чем – и без того уже узкий – прочитанный курс. Правда, кроме устного, студент должен представить письменную работу, которая имеет большее значение для оценки, чем ответ на устном

экзамене. Но для письменной работы, естественно, выбирается такая же узкая тема. Так например, студент, желающий получить сертификат по русской литературе и сдающий на письменном экзамене вопрос о романе Тургенева «Дым», может представить письменную работу о лирике Пушкина.

Ясно, что при такой системе действительно подробное и даже глубокое (насколько это возможно) знание отдельного писателя или группы писателей может уживаться с полным неведением общих процессов и закономерностей истории литературы, философии и прочего.

Чтобы ты не сердилась и не говорила, что я предвзято отношусь к Парижскому Университету, тут же оговорюсь, что мои наблюдения относятся только к Сорбонне, то есть к филологическому факультету, тогда как юридический, естественный и медицинский, составляющие вместе с Сорбонной Парижский Университет, мне неизвестны. Но знакомые французы, например, окончившие естественный факультет, говорили, что и там подробнейшее изучение отдельных животных видов уживается с почти полным отсутствием курсов по общей эволюции органического – как в Сорбонне социального – мира.

Чем объясняется такая система? Мне кажется, что причин две.

Первую из них я понял, просто внимательно прочитав программы Сорбонны по предметам, называемым общественными науками. Вот, например, для сертификата, который называется «Практическое изучение русского языка» и в некотором роде заменяет курс истории СССР, на устный экзамен были вынесены следующие четыре вопроса:

- 1.0. Раскол в 17 и 18 веках.
- 2.0. Великие реформы: их подготовка, проведение, следствия. (1833-1865 г.г.)
- 3.0. Промышленность с 1900 по 1914 гг.
- 4.0. Революционные партии с 1905 по 1917 гг.

С одной стороны, как будто бы довольно полный охват материала, особенно если учесть – и это бесспорное достоинство французской системы – требование прочесть к экзамену ряд книг на языке изучаемой страны. К этому экзамену нужно было прочитать часть «Курса русской истории» Ключевского, «Хрестоматию по истории СССР», «Историю древней русской литературы» Н.К. Гудзия, «Отмену крепостного права» П. Зайончковского, «Экономическое развитие России в 19 и 20 веках» Т. Хромова и «Историю народного хозяйства» Лященко (впрочем, тут же и книжонку на французском языке некоего Вольфа «Ленин и Троцкий»).

Но, с другой стороны, и это самое главное, студент вовсе не обязан знать, например, русского революционного движения в 19 и 20 веках, ведь декабристы и революционеры 60-х годов не входят во второй во-

прос, как история коммунистической партии не входит целиком в четвертый вопрос. Он может не знать и экономических предпосылок русской революции 1905 г. и великой Октябрьской революции, потому что из третьего пункта исключен вопрос о сельском хозяйстве, и т.д. Конечно, студент может полюбопытствовать на свой страх и риск, но его мнение об этих исторических процессах так и останется его личным мнением, не проверенным и не направленным более широким взглядом преподавателя.

Если вспомнить теперь, что университетские программы утверждаются министерством, то станет ясно, что эта система – следствие определенной государственной политики в области высшего образования.

Я знал, как много людей с левыми взглядами, в том числе и коммунистов, среди парижской интеллигенции, в частности среди преподавателей Университета, и антидемократическая направленность этой системы, не позволяющей преподавателю развернуть широкую, соответствующую его мировоззрению картину общественного развития, – казалась мне единственной причиной.

«Нажимает министерство, завинчивает гайку, – думал я в привычных мне московских терминах. Где уж тут бедному профессору развернуть перед студентами широкую и соответствующую его мировоззрению картину развития и сдвигов в обществе».

Я забывал одно: а хочет ли и может ли преподаватель разворачивать эту картину. Я забывал, что всякая система держится только людьми, и что она в людях.

И понял я это уже не рассуждениями и не чтением сорбоннских программ, а глядя на преподавателей и слушая их объяснения.

Первая лекция, на которую я попал, относилась к курсу «Вопросы логики» и говорилось на ней о том, как надо писать письменную работу по этому предмету. Лектор – высокий, горбящий спину, словно чтобы не выделяться над толпой, лицо живое и робкое одновременно, как у умного, но трусоватого мальчика. Видно, и в споры вступать не любит, и начальства побаивается. Знакомый, и симпатичный и несимпатичный мне одновременно тип старого московского профессора, который благополучно кончил гимназию, пережил тихохонько две революции и две войны, ходит на Баха в консерваторию, любит Канта, но статейку о нем приберегает до «оттепели», цитирует Энгельса и цитаты звучат у него непривычно, как если бы штатский заговорил об артиллерии, и сам он чувствует это и

когда студенты спрашивают у него, что такое «позитивизм» или за что раскритиковали Веселовского, то он с ученым видом отвечает, что это вопрос серьезный, но «между прочим, не относящийся к данному курсу, и его мы отложим до следующей лекции», при этом он от всей души надеется, что до следующей лекции студенты забудут. И деликатные слушатели, действительно, забывают, или делают вид, что забывают. Премудрый пескарь? Не знаю, не люблю готовых этикеток... Но советы этот француз давал все премудрые, пескаринные.

Философия – это не музыка, которую приятно слушать, но которая не ведет ни к какому выводу. Работу по философии студенты должны писать не для того, чтобы исписать двадцать листов бумаги, а для того, чтобы придти к определенному выводу.

От работы требуется диалектичность, то есть, как у него выходило, умение рассуждать: начать с примеров, кончить общим выводом. И цитировать по чем зря не стоит. Если мысль автора понятна, то ее можно легко изложить своими словами. Когда кажется, что тонкости ускользают, надо процитировать по-французски. Если же вообще нет уверенности, что понимаешь, то надо дать цитату на языке подлинника. И если этим языком окажется русский или китайский, то это идеал цитирования, так как, по крайней мере, видна добросовестность студента. (А говорят, у нас, у русских, диссертации не добросовестны? Ведь сплошь цитаты на языке подлинника).

Дал он и темы письменных работ – разобрать главу-другую из Платона, Фомы Аквинского, Декарта, Канта. Однако, хотя цитирование на русском или китайском языках и было идеалом, ни одной книги на этих языках рекомендовано не было. Зато были рекомендованы капитальные «труды», о которых делались оговорки, что, несмотря на религиозный взгляд, тема трактуется научно. И опять было видно, как он бочком, бочком пытается проскользнуть между наукой и религией.

Очень мне хотелось оглянуться на двух священников в рясах и на бледную монашку в золотых очках, которые сидели сзади меня и строчили в тетрадах. Да неудобно было оглядываться.

Говорил он быстро, и часто не выдыхал, а всасывал при этом воздух, и приглаживал жидкие волосы большими, красными от мороза руками (ходит без перчаток), и при этом кисти рук далеко вылезали из коротких рукавов. Иногда он шутил и смеялся, тоже всасывая в себя воздух. Но аудитория при этом молчала и смеялась там, где он хранил серьезность. И видно было, что студентов он не понимает и перед большой аудиторией ему неуютно, и хочется скорее отчитать и домой, на диван, под бюст Канта.

И я опять вспомнил своего московского профессора.

Курс социологии читал Арон. Это подвижный, веселый и подлинно остроумный человек. Он из тех французов, для которых все на свете предмет для шуток, быстрых, блестящих, саркастических, нежных, горьких: он сам, его печень, погода, правительство, Лондон, Москва, Парижская коммуна, бюст кинозвезды Брижит Бардо, пресса. Запрещено протестовать против назначения в НАТО палача Франции Шпейделя, – они говорят, как аксиому: «Ну, разумеется, ведь мы же во Франции!» Запущен спутник, они констатируют: «А мы разве отстали в астрономии? Посмотрите на цифры наших цен». Живучий и жгучий дух Монтэня и Раблэ.

Но те же французы не пропустят час обеда, и обедают обстоятельно, даже если только что пришло письмо от сына из Алжира или из Дьен-Бен-Фу, и голосуют аккуратненько за де Голля...

Арон читал курс для «лисано» «Социология и мораль». «Хм... Социология и мораль... С едкой улыбкой он объяснил, что это название, собственно говоря, – бессмыслица, потому что мораль от социальных условий не зависит. Происходит же эта путаница от философа Дюркгейма, который лет пятьдесят назад, и в этой же самой аудитории, учредил этот курс, считая, что можно установить научные и социологические основы морали.

Мы, ученые, читаем вам социологию, и вы, будущие ученые, будете ее сдавать. Но ... социология не наука. Ибо договориться о том, что такое научная социология, ученые никак не могут. Каждый крупный исследователь имеет слабость (впрочем, простительную) начинать все с начала, именно потому, что считает себя основателем подлинной, научной социологии: Конт, Маркс, Дюркгейм. Но это право за ними не всегда признавали даже их современники, а уж потомки и подавно не признают...»

Тем не менее, Маркс занимает в программе видное – одно из трех-четырех главных – место. Кроме лекций, ему отводится два семинара с разбором «К критике политической экономии». Но впереди Маркса в программе стоит Дюркгейм, позади – Макс Вебер. И Арон, опять с тонкой улыбкой, замечает, что социология напоминает столичное кладбище, где мирно покоятся рядом.

Но я уже не слушаю. Меня вдруг осенило: вот почему французская пирамида просвещения торчит вершиной к низу, вот почему профессора так легко примиряются с невозможностью развернуть перед слушателями широкую историческую концепцию мира. Нет ни концепций, ни людей, способных их создать. И дело не в недостатке ума или таланта, не в том, что нет крупных фигур. А в том, что фигуры и система отвечают друг другу.

Система существует людьми, она в них. Как очередь в магазин стоит не потому, что так хочется продавцу, а потому, что каждый держится за свое место в ней.

Надо сказать, что теорий и обобщений нет в настоящей науке. Когда же речь заходит о «критике» Советского Союза, то тут на теории не скупятся. Странно, не правда ли? Тот же Арон опубликовал недавно в одном из американских журналов (вообще его как-то тянет к Соединенным Штатам – недавно он объехал их с лекциями) статью, где утверждает, что мирное сосуществование должно заставить СССР отказаться от коммунистической идеологии.

Такого рода «построения» Арона обратили на него внимание правительственных кругов, которые привлекают его к консультациям по государственным вопросам. Впрочем, сама по себе эта французская традиция – консультироваться со специалистами, профессорами и преподавателями университетов и институтов, перед составлением законопроекта, конечно, хороша. Но было бы странно, если бы психология лавочника не накладывала отпечатка на всю страну, от моды до политики и университетских умствований. Собравшись с мыслями после первых известий о спутниках одна крупнейшая социалистическая (единомышленная с Ароном) газета высказалась так: «Россия занимается спутниками и старается не думать о жареном цыпленке. Америка успевает и то, и другое, а Франция предпочитает любому спутнику своего жареного цыпленка». Вот она настоящая, дореволюционно-конотопская пошлость.

Позже ты очень хорошо сказала на это, что в отношении России это утверждение неверно, в отношении Америки – по меньшей мере преждевременно (через несколько дней американские спутники пошли взрываться), а в отношении Франции, увы, справедливо.

Лекция кончилась в 12 часов дня, в это время в Сорбонне все замирает на два священных часа – обед. Я быстро протопал по каменным плитам двора, взглянул на венки у стены – Героям Сопротивления, взглянул на другие венки – перед университетской церковью – «героям» венгерской революции, как называют здесь полуофициально контрреволюцию в Венгрии в 1956 году, но перед тесной аркой застрял: толпа здесь с трудом протискивалась на улицу.

Место очень удобное для раздачи всяких рекламных листов, проспектов и листовок. И на этот раз мне повезло: я увидел представителей трех основных молодежных движений – коммунистов, верующих и правых.

Коммунист, парень лет двадцати двух, в черной фуфайке до подбородка, с обветренным лицом рыбака или матроса парусного судна, пред-

лагает «Юманите». Я, конечно, купил, как всегда мы, советские, делали, три-четыре номера.

Верующие были представлены бледным молодым человеком с таким выражением лица, как будто он только что украдкой облизал ложку с вареньем. Он раздавал розовые листки с крупными буквами: «Суд над христианством». Я взял и этот. Какой-то парень так удивленно посмотрел на меня, что я даже остановился. Я вспомнил, что только что видел его на лекции. Но думать было некогда, сзади напирали. Я хотел было прихватить и листок правых, его протягивала девица в роговых очках и с такой прической, которую в Москве называют «возвращение к жизни после тифа». Но увидев у меня в руках «Юма», она холодно сказала «Нон, месье», и листка не дала. Ну, и черт с ней!

Я вышел, наконец, на улицу и оглянулся. Любопытно было наблюдать, как двигались студенты по этому узкому проходу: одни жались к «Юманите», влево (без всякой игры слов, просто этот парень стоял налево), другие вправо, к верующему и к роговым очкам. Но большинство теснилось к середине, стараясь не замечать рук, протянутых с листками с той и другой стороны, и у них был такой вид, как будто они плывут между Сциллой и Харибдой...

Кто-то взял меня за локоть и сказал:

– Меня очень удивило, что Вы, русский, взяли этот христианский листок, и я хочу с вами познакомиться.

Это было сказано с американским акцентом, с видимым трудом и без грамматических ошибок. Тот самый парень, который удивленно смотрел на меня под аркой. Так мы и познакомились.

Стэн – так его зовут – американский студент, из самого что ни на есть Нью-Йорка. Двадцать три года. Голубые глаза с длинными ресницами и пальцы с пухлыми концами и с заусеницами. В тот же день (он жил тоже в Университетском городке) вечером, он принес ко мне в комнату фанерный ящичек, перевязанный золотой ленточкой. Вид у ящичка и у Стэна был таинственный. Оказалось, что в ящичке – швейцарский шоколад с ромом (я так и знал, что он должен любить сладкое), который Стэн проездом купил в Женеве, выгоднее, чем во Франции (бизнес!) Угощал торжественно, по одной конфетке, своими пальцами с подушечками. Вот и верь после этого, что пальцы, скулы, рот, глаза не связаны с характером. Может, и шишки на черепе не глупость?

Разговор такой:

– Зачем вы расстреляли Имре Надя?

– Это не мы, а венгры. Его приговорил венгерский суд, а им, в Венгрии виднее.

– (С искренним недоумением) Я об этом ничего не знал. В наших газетах писали иначе. Впрочем, они часто пишут не то что есть. (Пауза). Ты думаешь, они, действительно, лгут?

– А как по-твоему?

– (С улыбкой) По-моему, лгут.

– Я: (мысленно) Уф. Еще, слава богу, не совсем оболваненный. Вопреки инструкциям Министерства Высшего образования не уклоняться от споров с иностранцами, – спорить мне не хочется, поздно. Хочется спать. За плечами рабочий день. Конфетку бы еще взять... Но – оборона – смерть вооруженного восстания, – и я не дав ему дососать конфетку, хотя, по-человечески, мог бы и подождать, бросаюсь в атаку.

А почему у вас Литтл-Рок (это тот городишка, где с оружием в руках повыгоняли из школ всех негров)?

– Не говори, мне просто физически нехорошо делается, когда я об этом думаю. (Это искренне. Но тут же контратака). А ваши газеты разве не лгут?

– Никогда.

– Ну, а если они просто, скажем, умолчат о чем-нибудь?

(Не знает он французского выражения «лгать способом опущения»).

– Ну, положим, бывает.

– (Торжествующе): Вот видишь.

– А ты посуди сам: напишут, например, в газетах, что в Калуге 28 числа не было молока. 29 оно уже есть, и с избытком, но зато ваши американские газеты, радио, кино начнут на несчастную Калугу всех собак вешать и через три дня выйдет, что в Калуге чума и, кроме того, все пухнут с голоду.

– Согласен, но...

– Нет, теперь уж моя очередь. Почему у вас 5 миллионов безработных? Почему у вас военные базы вокруг всех наших границ?

(Пауза. Потом я продолжаю).

– Нет, знаешь, друг, если мы хотим дружить, то давай начинать не с таких разговоров, потому что тут я на один твой вопрос могу тебе десять отпартовать, а начнем-ка мы с чего полегче, как делается на высшем уровне, а потом уж и до толстостей доберемся.

Решено и принято единогласно. И мы отправляемся на Большие бульвары искать интересный фильм. Фильма такого не находим, но зато находим молочный бар. Хозяйка принимает нас за швейцарцев. Мы забираем у нее последнюю (к полуночи) порцию яблочного пирога и два стакана холодного молока. Деликатно препираемся, кому съесть вывалившуюся начинку, садимся. Стэн на американский манер вытягивает свои худые и длинные ноги далеко из-под столика. Это повод для проходящих девиц удивленно (якобы) оглянуться на нас, а нам на них. А я на французско-

русский манер сижу скромненько, нога на ногу, распахнув пиджак и только руки в карманы.

Но не спорить мы не можем. Только теперь спор начинается пианиссимо, под влиянием вечера, пирога и молока.

Стэн незаметно крестится (под столом) перед тем как вонзить зубы в пирог. (Вот это пережиток! Ну, погоди, это козырь в мою пользу). Я с невинным видом тихонько начинаю:

– Почему это, когда мы хотим производить столько мяса и молока на человека, сколько в Америке, то у вас начинается такая ажитация, и заявления, и поездки по странам-союзницам и мотивировки всякого недоброжелательного для нас рода?

– А почему вы не можете спокойно производить свое мясо и молоко. И не говорить над каждой котлеткой, что вы догоняете Америку? – он горячится и размахивает своими белыми руками, как дирижер обозначая крещендо.

Хозяйка приходит убирать посуду и уже не принимает нас за швейцарцев, она видит в нас представителей двух великих держав, и это написано на ее лице. Она долго смотрит нам вслед...

С тех пор наши споры, уже по-настоящему дружеские, продолжаются почти каждый день. Усталые, после двенадцатичасового напряженного и богатого событиями парижского дня, мы садимся вечером у меня в комнате, в лежаках у открытого окна, в которое ветром то и дело вытягивает тяжеленную занавеску, – и спорим, спорим. Не знаю какая закалка у Стэна, но не мне бояться споров, русскому студенту, привыкшему над романом, или над газетной статьей, или над персональным делом сидеть до рассвета, до зеленого дыма, привыкшему к этому еще в отцах и дедах своих, студентах-семидесятниках, народовольцах и рабфаковцах...

Иногда, раз или два в неделю, мы вынуждены подкреплять свой организм сразу после легких столовых ужинов. Тогда Стэн оккупирует гладильную комнату, где есть электроплитка, и жарит себе толстенный как подметка бифштекс с луком. Я ленюсь, и ограничиваюсь не менее толстыми бутербродами, которые запиваю красным вином. Тут уж нам не до споров.

Зато в другие вечера мы презираем дополнительное питание (как легко быть выше сытости, когда уже сыт) и ограничиваемся шоколадом. С его помощью время сэкономлено, и можно поспорить.

Воспитанный в суровой, патриархальной семье судьи, Стэн каждое воскресенье ходит в церковь, поет там в хоре и мечтает, что когда станет учителем, то будет устраивать рождественскую елку для всех бедных детей в округе. Мне кажется, он слегка жалеет, что несмотря на распахнутое окно и на сквозняки, я еще не свалился в горячке. Он бы благотворительно носил мне обед из студенческой столовки, читал газету...

- Какую газету, ты читал бы мне, Стэн?
- «Правду».
- Нет, лучше «Вечерку».
- Что такое «Вечеллка?»
- Эх, Стэн, Стэн, это «Москоу ивнинг ньюз».

Иногда он просит рассказать, как это случилось, что наша страна осталась без религии. Я в свою очередь удивляюсь, почему он принимает при этом такой похоронный вид, и потом рассказываю ему о первом поколении, о 9 января, о хоругвях на площади, о гражданской войне, о по-пах, о кулаках, об обрезах. О втором поколении, которому уже и некогда и не к чему было вспомнить о потерянной религии...

- А мораль?
- Что мораль?
- Как же мораль без религии? Впрочем, я чувствую по тебе, что хотя у тебя религии и нет, но какой-то стержень моральный все-таки есть...
- Благодарю за комплимент. (Но это я говорю только так, для красного словца, а на самом деле его мысль еще послужит мне мощным аргументом).

– Нет, я серьезно, – продолжает Стэн. – Вот у меня мораль и религия – это одно и то же. Если бы я не верил в бога, то я мог бы убивать, грабить...

- Не ново. Достоевский этим переболел уже сто лет назад.
- Что значит уже переболел? А доказательства существования бога?
- Какие?
- Как, какие? Для меня все доказывает бога: то, что мы сидим здесь, и что есть эти стены и воздух...
- Ну, знаешь!

Мы повышаем голос, нам стучат в стенку. Прекращаем спор. Небо уже бледнозеленое. Ветер резко спадает, как всегда перед утром, и отпущенная занавеска, влажная и пахнущая свежестью, виновато возвращается в душную комнату из своей ночной прогулки.

Когда Стэн уже за порогом, я не могу удержаться:

- Стэн, это правда, что когда ты появился на своем нью-йоркском пляже в парижских плавках, то знакомые были так шокированы, что перестали с тобой здороваться?
- Плавки были слишком ... модные. Все считали, что это не морально.
- Какое ханжество! Но ... значит, плавки противоречили религии?
- Ну тебя, я хочу спать!
- Я тоже.

Мы расстаемся. Чтобы завтра встретиться снова. Стэн еще поломает себе голову над моим аргументом. Как, впрочем, и я над его.

Под окном, по гравию студгородка еще шуршат шаги. Напротив, перед своим павильоном, мексиканцы, «лучшие самцы в мире», как они сами себя называют, запевают под гитару настоящую серенаду.

Я засыпаю.

Встает новый день.

Но это еще не тот день, когда нам суждено с тобой встретиться. И мы еще ничего не знаем об этом.

У Стэна привычка, как, впрочем, и у меня, из любопытства подбирать всякие рекламные листки и проспекты, которые раскладывают на прилавках продавцы или раздают на улицах люди-сендвичи, затиснутые между плакатом на груди и плакатом на спине. Вечером мы делимся сведениями, почерпнутыми из этих листков.

Вчера Стэн, довольно-таки смущаясь, так как речь шла о божественном (в первые дни он был бы просто агрессивен), показал мне такую бумажку:

«Собрания божественного исцеления, по средам в 8.30. Вот уже несколько лет г-н Бенци признан истинным апостолом страждущих от болезней. Толпы больных собираются, чтобы услышать его слово. Рак, туберкулез, паралич, ревматизм, астма, экзема, глухота, катаракта и проч. подвергаются чудесному излечению. Г-н Бенци объясняет Евангелие в его первоначальной простоте и накладывает руки на страждущих. Вход бесплатный. Многочисленные свидетельства излечения».

Тут же фотография г-на Бенци: смышленная итальянская физиономия.

Не успеваю я начать удивленным тоном: «Стэн, неужели ты...», как он сам торопливо начинает объяснять:

– Нет, ты понимаешь, эти листки раздавала печальная такая старушка. Мне просто неловко было не взять. Но оставим, это действительно похоже на заблуждение. А вот это интересно. Он протянул мне еще одну бумажку.

Та самая, розовая листовка, которую всучил и мне молодой человек при выходе из Сорбонны. Читаем: «Суд над христианством. По почину молодежи, верующей в Евангелие». Дальше объяснялось, что «суд» заключается в нескольких лекциях. Ближайшая называлась так: «Оставлено позади ходом истории» и затем стоял иронический вопросительный знак.

Стэн не совсем уверенно (кто их знает, атеистов, не стану ли я богохульничать) предложил пойти и взглянуть, как будет выглядеть этот вопросительный знак в действительности. Я согласен. Идем.
